

ББК 84 Р 7-5
Ш 98

*Издание осуществлено по программе Министерства
культуры и информации Республики Казахстан*

Шухов И.
Ш 98 Пресновские страницы: Повести. – Алматы: Жазушы,
2006. – 208 с.

ISBN 9965-764-46-8

В книгу вошли последние произведения Ивана Петровича Шухова – повести «Колокол», «Трава в чистом поле», «Отмерцавшие марева» из автобиографического цикла «Пресновские страницы».

528338

К 7

Ш 4702010202-057
402(05)-06

ББК 84 Р 7-5

ISBN 9965-764-46-8

Северо-Казахстанская
областная библиотека
им. С. МУКАНОВА

© Шухов И., 2006
© Издательство «Жазушы», 2006

ИВАН ПЕТРОВИЧ ШУХОВ

(1906—1977)

Иван Петрович Шухов родился в августе 1906 года в древней казачьей станице Пресновской Петропавловского уезда Акмолинской губернии. В большой, многодетной семье гуртоправа Петра Семеновича и Ульяны Ивановны Шуховых Ваня был самым младшим среди двенадцати своих братьев и сестер.

С 1914 по 1927 год учился — в Пресновской начальной школе, Петропавловском педагогическом техникуме, на Омском рабфаке, в Высшем литературно-художественном институте имени Брюсова. В эти годы Шухов публикует свои первые стихи, рассказы — в газете «Юный степняк» (Петропавловск), «Журнале крестьянской молодежи», «Крестьянском журнале» (Москва), принимает участие в московском журнале «Студенческая молодежь».

В 1928 году Шухов сотрудничает в омской газете «Рабочий путь», газетах «Красная Башкирия» (Уфа), «Волжская коммуна» (Самара), публикует стихи и очерки в «Советской Сибири» (Новосибирск). Затем работает разъездным корреспондентом «Уральской областной крестьянской газеты», где отделом крестьянских писем заведовал Павел Бажов.

В 1931—32 годах в Москве вышли в свет первые романы Ивана Шухова — «Горькая линия» и «Ненависть». Оба произведения получили высокую оценку Горького. Молодой литератор переписывался с Алексеем Максимовичем, встречался и беседовал с ним.

В 1935 году журнал «Октябрь» напечатал новый роман «Родина», вскоре изданный отдельной книгой в Алма-Ате. В это же время на экраны страны вышел кинофильм «Вражьи тропы» (по роману «Ненависть»). Роли в нем исполняли знаменитые актеры — Эмма Цесарская, Марина Ладынина, Борис Тенин, Андрей Абрикосов.



В 1940 году выходит в свет роман «Действующая армия».

В годы войны в союзной и казахстанской печати публикуются фронтовые очерки и статьи Шухова, а также его «Письма сибирским казакам» («Дым Отечества»).

В 1950—70 годах в Москве, Алма-Ате, Новосибирске выходят книги — «Облик дня», «Покорители целины», «Золотое дно», «Степные будни», «Дни и ночи Америки», «Ненависть» (серия «Библиотека сибирского романа», т. 18), «Избранное», «Родина и чужбина», «Пресновские страницы».

С 1963 по 1974 год Шухов был главным редактором журнала «Простор», получившего при нем всесоюзную известность.

Много сделал Иван Шухов и как переводчик произведений казахских писателей. Им переведены на русский язык рассказ Мухтара Ауэзова «Охотник с орлом», романы Сабита Муканова «Ботагоз», «Школа жизни», походная тетрадь Малика Габдуллина «Мои фронтовые друзья», повесть Мукана Иманжанова «Первые месяцы».

В 1989—90 годах издательство «Художественная литература» (Москва) выпустило двухтомник сочинений Ивана Шухова, а «Детская литература» — сборник серии «Отрочество», куда вошли его автобиографические повести «Колокол», «Трава в чистом поле» и «Отмерцавшие марева». Эти повести, отличающиеся высоким художественным мастерством, тонким изображением подробностей детства писателя, стали заметным явлением современной русской прозы.

Наши деды с вилами дружили.
Наши бабки черный плат носили.
Ладили с овчинами отцы.
Что мы помним? Разговор сорочий,
Легкие при новолунье ночи.
Тяжкие лампы. Бубенцы!

Павел Васильев

О, как ярко — словно было это вчера — вижу я и поныне тот — бесконечно на самом деле теперь от меня уже далекий знойный августовский полдень в станице Пресновской. Как и сейчас, слышу забубённый гул перекатного, пропитанного полынной горечью горячего ветра. Все отчетливо помню. Мутноватое, тускло сверкающее сквозь пыльную пелену черной бури, прокаленное зноем небо. Босоногую худую старуху с холщовой сумой на боку, заснувшую у нашей завалинки. Шелест кипящей под ветром древесной листвы в палисаднике. Скрип дрожмя дрожавшей жерди под уже покинутой скворцами скворешней. И тугие жгуты смерчей, бесновавшихся по пустынным улицам и переулкам точно вымершей в эту пору станицы.

Август — разгар страды. И станичные хлеборобы — от старого до малого — все в степи, в поле, на пашне.

А мне — четыре года. И я ничего не знаю о том, где я был и как я жил до этого знойного пыльного дня. Выходит, что все-таки где-то был и как-то жил я и до сегодня. Но жил — теперь мне понятно — бездумно, кротко и неприметно, как живет стебелек мелколистной степной полынки, доверчиво притулившейся к огородному плетешку.

Вдосталь — надо думать — наигравшись за этот полдень в круглом одиночестве в тени крытого дерном сарая, разморенный жарой, убаюканный колыбельным ветром, я заснул. Заснул полусидя, прислонясь головой — с белесыми малоухоженными волосами — к полурассохшемуся колесу старой нашей телеги.

Не знаю, сколь долог иль короток был тот мой сон. Но проснулся я от грозного трубного звука и замер от безотчетного ужаса, в комок сжавшего детскую мою душу.

В страхе отпрянув от колеса, я весь напряжился, вслушиваясь всем своим существом то ли в утробный стон, то ли в надсадные вопли незримой грозной трубы. А затем, стремглав вылетев из сарая на открытый наш двор, я увидел над головой черное, как вороново крыло, будто залитое кипящей смолою небо.

А труба — словно откуда-то с заоблачной высоты — продолжала трубить и трубить все пронзительнее, все угрожающе, все горше. И тут я вдруг не то что там понял, а скорее, конечно, почувствовал, что это выл Главный колокол нашей станичной церкви, звук которого, быть может, уже и касался моей отроческой души когда-либо прежде...

И не успев я опомниться, прийти в себя, как у меня подкосились ноги от крика старшей из двух моих сестер — Даши. Точно вихрем вырванная из дверного проема сеней, она на какую-то долю мгновения застыла как вкопанная на низеньком нашем крылечке, вглядываясь в черную накипь неба. И вдруг, обреченно прижав к груди накрест схлестнувшиеся тонкие девичьи руки, так закричала, что я не узнал ее голоса.

— Набат?! Набат?! Боже, да ведь это пожар! А-а-а! Пожар! Боже мой! Боже мой! Пожа-а-а-а!

У меня перехватило дыхание от жаркой вспышки невыразимой нежности и жалости к полуузнанной мною в эту минуту сестре. Ничего не понимая, не догадываясь о том, что же произошло, я, однако, почуял какую-то страшную беду, нависшую над нашим двором, надо мной, над обнаженной русоволосой головой Даши. И заплакав, я бросился со всех ног к обезумевшей от страха и горя сестре, невольно ища у нее утешения, ласки и защиты.

С лету очутясь в спасительных, надежных руках нянчившей меня сестры, я сразу притих и тут же спросил ее:

— Правда же, это ведь они звонят к обедне? Правда же?

Но Даша, ничего не ответив мне, только судорожным движением руки погладив меня по голове, опрометью бросилась со мной в дом и заметалась, будто в беспамятстве — челнок челноком — из кухни в горницу, из горницы — в кухню. Затем, сорвав — почему-то только с одного горничного окошка — тюлевую

занавеску, прихватив впопыхах заодно и ветошный коврик со старинного маминного сундука, — она, крепко прижав меня к груди, снова вихрем вырвалась вон из дома — на просторный наш двор, а потом — за ворота, на улицу.

Даша вновь закричала чужим голосом. Но я не разобрал ее слов — их заглушил яростный рев раскаленного опалившего лицо мое ветра. Что-то сухо трещало, гудело, звенело и грохотало вокруг нас, и я не узнавал потонувшей в душливой полумгле нашей улицы.

А колокол выл и выл — выл, как попавший в беду человек, захлебываясь от сбивчивого торопливого крика и сгона.

Все ходило вокруг ходуном — и земля и небо. А Даша, не выпуская из рук ни меня, ни тюлевой занавески, ни ветошного коврика, то кидалась снова во двор нашего дома, то вновь вылетала прочь — на полутемную, объятую жаром улицу.

Теперь сестра уже не кричала, а только беззвучно шевелила обескровленными, спекшимися губами, и я не узнавал сейчас уже и ее лица — тоже теперь для меня бесконечно чужого, как будто никогда доселе мною не виданного.

Было похоже, что ударил гром. И тут вдруг я увидел в черной, клокочущей бездне неба раскиданную ветром стаю огненноперых птиц. Они, излучая багряные брызги и струи, в смятении порхали в грифельном небе, рывками кидаясь из стороны в сторону, и — то отвесно, то косо — падали, как подбитые, на кровли навесов, домов и амбаров.

А затем — как мне мнится теперь — кто-то с дьявольской яростью и неземной сатанинской силой метал с высоты на станицу пылавшие стрелы, копья и факелы. И вот — то тут, то там — взмыли ввысь, заходили враскачку расшатанные ураганным ветром, перевитые траурным дымом, огненные столбы.

Таким увидел я — четырехлетний последыш многолетней нашей семьи — памятный моему поколению одностаничников пожар тысяча девятьсот десятого года.

За каких-нибудь там полтора-два часа огненный ураган начисто смел с лица земли почти всю вековую нашу станицу.

Уцелело немного. Церковь. Пожарная каланча. Здание станичного правления. Кабак с домом целовальника. Начальная школа. Войсковые склады холодного оружия, походного снаряжения и провианта, стоявшие на отшибе — за древними крепост-



ными валами. И около десятка кондовых домов пресновской знати, в большинстве своем примыкавших к обширной церковной площади. То были дома здешних купцов и скотопромышленников – приписных, не потомственных казаков станицы – Фоминых, Немировых, Коркиных, Стрельниковых, Бронских, Боярских.

Мало что из домашних пожитков удалось отстоять от огня подоспевшим к пожару станичникам, прискакавшим с далеких пашен верхами.

Не ахти как много добра успели выволочь, выкинуть вон – на улицу – из пылавшего свечой деревянного нашего пятистенника и старшие мои братья – Иван с Дмитрием, тоже прискакавшие вершными с пашни.

Прорвавшись сквозь огненно-дымный занавес, братья в первую очередь выволокли из горящего дома заветный мамин сундук – хранитель немудрых праздничных нарядов семьи. Потом им удалось урвать у огня и еще кой-чего из домашности. Медный, щедро осыпанный наградами регалиями самовар с фамильным тавром тульских заводчиков – братьев Баташевых. Ручную швейную машинку «Зингер» – кормилицу белошвейки Даши. Нарядную, весело расписанную ирбитскими мастерами прялку. Потемневшую от времени деревянную икону с распятым Христом – прадедовское благословение нашему дому Саратовскую гармонику с бубенчиками, нажитую на побочных заработках Иваном. И что попало второпях под руку – из кухонной утвари.

Отчетливо запомнился мне и венец этого страшного в истории нашей семьи и станицы дня – тихий, умиротворяюще-кроткий, пропитанный горькой гарью вечер. Порозовевшее от заката большое станичное наше озеро с отраженными в нем неподвижными облаками. Дремотно махавшие упругими крыльями – тоже позолотевшие от вечерней зари – чайки, парящие над стоячей зеркальной водой. И печальный, похожий на сдавленный полустон, глуховатый крик выпи в далекой, заросшей дремучими камышами заозерной курье.

Все наши теперь были в сборе. Угрюмый, непривычно чужой для меня сейчас с виду, отец. Но все та же прежняя – маленькая, подвижная и порывистая – неизменно ласковая со мной мама. Суровые, еще более повзрослевшие теперь в моих глазах братья – Иван и Дмитрий с Кириллом. Притихшие, пугливо жавшиеся – как птицы – друг к дружке сестры Даша и Паня.

Сбившись в тесную кучку, старшие члены семьи не сводили глаз с вороха обуглившихся, еще чуть дымившихся головешек родового пепелища — последних останков бывшего нашего дома и двора.

Все молчали.

Никто не обронил в эти минуты ни слезы, ни вздоха, ни слова. И только воротившиеся под вечер со степных пастбищ коровы, ошарашенно крутясь возле полуугасающих пепелищ, вдруг подняли рев на всю былую, поверженную в прах станицу. Низко уронив рога, яростно разрывая копытами теплую золу и искрящиеся угли, коровы выли, оплакивая — вместо убитых неслыханной бедой людей — свои бывшие дворы и загоны.

Коровы ревели.

А отрешенные, какие-то потусторонние в эти минуты погорельцы станицы смотрели на них незрячими от горя глазами с тупым безучастием, будто не только не видя, но и не слыша их.

День меркнул.

Коровий рев понемногу пошел на убыль — стал затихать. Стало слышно, как в вечерней степи заперекликались, призывая ко сну людей, перепела. «Спать пора! Спать пора! Спать пора!» — четко выщелкивали они эти не раз потом баюкавшие меня колыбельные присловья, когда я — утомленный дневной полевой работой полу-подросток — сладко и счастливо засыпал рядом с отцом на пашне.

«Спать пора! Спать пора! Спать пора!» — самозабвенно пощелкивали в травах соседствующие со станицей перепела, и у меня покорно смыкались набрякшие веки и пугливо подрагивали ресницы, тронутые легким дуновением сна.

Но тут вновь ударил Главный колокол обойденной мятежным огнем станичной церкви. И затяжной, напевный, медлительно замирающий где-то в глубинном степном просторе гул его опять привел в трепет чуткую на побудку детскую мою душу. И снова, гонимый безотчетным отчаянием, я было бросился — в поисках защиты — к неподвижно стоявшей в кругу нашей семьи, будто окаменевший маме. Но меня опять ловко перехватила на лету в теплые, трепетные свои руки Даша, — и сбивчиво, доверительно, горячо стала полупшептать мне на ухо:

— Не пужайся. Не пужайся больше, голубчик! Не надо. Не надо... Это — не к пожару. Это — не пожар. Пожара больше не будет... Это ж к вечерне звонят. К вечерне!..

Я притих. И при виде истова крестившейся, словно вдруг разбуженной колокольным звоном мамы сразу же успокоился. И потом, настороженно прислушиваясь к неторопливым, размеренным звукам медногосого трубача, чутьем угадывал в их спокойном, плавном потоке некий иной уже, незнакомый донныне мне голос, а может быть даже — и смысл...

Да, это был другой колокол — совсем не тот, что, взвывая в черном небе, разбудил меня нынешним днем от разморенной полуденной моей дремы. Какой-то другой струной, другой гранью задевал теперь мою посветлевшую, кротко притихшую душу этот теперичный, скорбный и миротворный звук...

То звонили к вечерне.

Был канун большого церковного праздника — Успенья. И престарелый станичный священник — отец Никанор, невзирая на страшное бедствие, обрушившееся на его приход, — не решился отменить вечернее богослужение, положенное по Большому требнику.

Спосылав за — всегда полухмельным и тоже нынче погоревшим — пономарем Моисеем Шевелевым, старый священник велел ему отправляться на колокольню и бить в Главный колокол, созывая торжественным благовестом попавших в беду прихожан к поздней вечерней службе.

Позже — уже повзрослевшим — не один раз доводилось мне слышать от дедушки Арефия Старкова — церковного старосты и нашего соседа — про это памятное ему богослужение в пустой от прихожан церкви.

По словам дедушки, на тревожной и скорбной этой всенощной не было даже клиросных певчих. И вечернюю службу справлял одряхлевший отец Никанор с помощью одного лишь церковного регента — лихого станичного нашего кузнеца и коновала — Лавра Тырина да дедушки Арефия, раздувавшего угарные угли в кадиле и снимавшего нагар с пламеневших под образами восковых свечей.

Я и теперь, пожалуй, толком не объясню, отчего так неизменно, горько волновал меня в раннем детстве рассказ церковного сторожа об этой вечерней предпраздничной службе в безлюдной церкви.

Может быть, мне уже было понятно в ту пору, какая сумятица творилась на исходе того рокового дня в оторопевших от неслы-

ханной беды душах потерявших в огне и кров и пожитки станичных жителей. И жутко, должно быть, было им видеть в тот горестный час златоглавый, по-лебяжьей белоснежный свой храм в окружении испепеленных станичных руин, отрешенно взиравший на людское горе полузрячими, сумно озаренными изнутри жарким свечным сиянием окнами...

Помню, коротали мы с отцом и мамой первую — после пожара — ночь на нашей пашне. Благо она была недалёней — всего в трех верстах от станицы. Был у нас там и кров над головой. Просторный, укрытый дерном балаган — шалаш, схожий со степной кочевнической юртой.

И опять же — мнится мне — будто было все это совсем недавно, вроде бы как вчера, — столь отчетливо вижу я и поныне все то самое, что окружало в ту августовскую ночь и меня, и отца, и маму под укромным нашим полевым кровом. И мерцает в глазах моих очажок, кротко тлеющий посреди балагана. И воочию вижу я и отца, примостившегося на чурбачке около догорающего костра, молча ворошившего ракитовым прутиком золотящиеся в полумраке угли.

А мама — рядом со мной. Мы лежим на покрытой домотканым пологом, сладко пахнувшей свежей овсяной соломе. И я, покачиваясь на зыбких качелях дремоты, в полузабытьи прислушиваюсь к теплomu, как парное молоко, полунапевному — близкому к полупшепоту — материнскому голосу.

Баю, баю, баю-бай.
Пойди, Бука, под сарай.
Пойди, Бука, под сарай —
Коням сена надавай.
Кони сена не едят,
Все на Букушку глядят!

И совсем уже засыпая под этот баюкающий, ласковый полупшепот, я вдруг с тревогой спрашиваю:

- А завтра он меня тоже разбудит?
- Кто, сынок?
- Он — колокол.
- Спи. Христос с тобой. Спи... Разбудит. Разбудит!
- А после — потом?



— И после и потом — разбудит. Он всю жизнь нас, грешных, будит... И тебя будет будить... — утешает меня полужеланием, так и не поняв, видно, подсудной моей тревоги, мама.

Гаснет костер.

Круг пережитого мною за этот минувший день замыкается, и я засыпаю.

Разбудил ли меня на другой день поутру Главный колокол, его очень хорошо было слышно на нашей пашне, я этого не помню, не знаю. Потому что — как и до этого дня — я снова стал жить какое-то время в беспомыслии, и рос — как трава в чистом поле, покорная вольному ветру.

Правда, не все было заспано, позабыто и в этой отмерцавшей подобно полуденному мареву над желтой от зноя степью полупризрачной моей жизни — от рождения до пяти-шести лет. И хоть рос я эти годы — трава травой, а все же какие-то мимолетные случаи и события той поры навсегда запечатлелись в полумладенческой, сбивчивой памяти. Я и теперь не скажу, в полужаспанном ли детском сне виделось мне тогда то или это, иль наяву...

Хорошо запомнилась мне с тех времен бабушка Платониха — наша соседка. Звали ее так по мужу — Платону Гордееву.

Запомнился Платон. Огромного роста, осанистый, бравый старик с дремучей окладистой бородой веером. С лихим — не по его годам — казачьим чубом. Платон был очень схож с другим — таким же рослым и молодецкатым — но уже белым как лунь станичным красавцем — Устином Стабровским.

Позже я узнал, что оба эти старика были не простыми казаками — лейб-гвардейцами, отбывавшими действительную службу не в городе Верном, как все прочие одностаничники, а в Санкт-Петербурге. Там они несли караул во внутренних дворцовых покоях царствовавшего в ту пору императора Александра III, и пресновчане — от старого до малого — относились к ним с нескрываемой завистью и почтением. Меня же сводили с ума их голубые, расшитые золотом парадные мундиры, и совсем уж бросали в трепет картинные, похожие на опрокинутые на головы бакуры, алые кивера с устремленными ввысь над ними — как рублевые церковные свечи — султанами!

Впрочем Платон — как равно и Устий — был виден, внушителен, ладен собой и без парадного гвардейского мундира, а уж о кивере и говорить не приходится!

Про бабушку же Платонику такого не скажешь. Не под стать мужу была она маленькой, сухонькой, суетливой и столь к тому ж молодежавой, что рядом с Платоном скорее, пожалуй, годилась бы ему в дочери, нежели в жены.

Платониха всегда куда-то спешила. Всегда ей было недосуг. Всегда где-то что-то было у нее не доведено до ума — не доделано. Едва переступив порог, она, впопыхах торопливо перекрестясь, здоровалась — еще более торопливой, малоразборчивой скороговоркой — и тут же принималась ахать и охать про свой недосуг, про свою домашнюю неуправу. И мама тоже торопилась поднести ей как можно скорее походную казачью кружку с загодя припасенными для неусидчивой гостьи чайными выварками.

Про чайные выварки — слабость Платоники — знали все наши соседи и, приберегая их впрок после каждого чаепития, потчевали потом ими охочую до них бабушку.

Я всегда был рад шумливому появлению у нас запыхавшейся, хлопотливой и непоседливой этой нашей соседки. Мне нравилось, глядя на нее, видеть, с каким она наторевшим проворством и завидной ловкостью выуживала цепкими перстами из кружки выцветшую чайную шелуху и, жмурясь от наслаждения, глотала ее всласть — с причмоком. А попотчевавшись наспех любимым лакомством, она никогда не забывала тут же одарить меня каким-нибудь немудрым гостинцем. То — леденцом. То — сахарным огрызком. То — заварным калачиком, впридачу с ласковым словом...

— А теперь — побегу. Побегу. Побегу, кума!.. — тараторила, возвращая маме опорожненную латунную кружку, суетливая бабушка. — Там делов, делов у меня — невпроворот. Чисто сквозь кругом — не растворено — не замешано... Побежала. Побежала. Побежала... Спаси тебя Христос, кума, за все приятности!..

И Платонику будто ветром сдувало. Сунув мне свой гостинец, она мигом исчезала из моих широко раскрытых на божий мир, изумленных, радостных глаз. И я тогда тоже, с таким же наслаждением, принимался сосать дарованный ею мне леденец или жевать заварной калачик, как это только что делала бабушка, опоражнивая кружку с чайными выварками...

Запомнилась мне бабушка Платониха в связи с еще одной бедой, обрушившейся на нашу семью, — пропажей занятых зимним извозом двоих моих старших братьев Ивана с Дмитрием.

Стояла суровая зима тысяча девятьсот двенадцатого года. А зима для пресновчан была порой извозного промысла— довольно-таки доходного побочного приработка для жителей среднего достатка. Сбиваясь в артельные обозы, хаживали станичники по санному следу, случалось, и в неблизкий путь. До ближайших от нашей станицы железнодорожных станций Великой транссибирской магистрали — Макушино и Петухово — было семьдесят сагаком верст. До уездных городов — Кургана и Петропавловска — по полтораста. Но обозы, груженные пшеничным зерном и бочатами со знаменитым сливочным маслом Сибири, топленным салом и бараньими тушами, кожаным сырьем и невыделанными овчинами, замороженными кишками и прочим добром со стрельниковских и боярских боен, — расходились не только по этим двум городам и станциям. Ходили они по малоторным зимним дорогам и подальше. Возили купеческий груз в Ирбит, в Куртамыш, в Кресты — на гремевшие по тем временам на всю Россию зауральские ярмарки.

Порожняком в станицу возчики не возвращались. Через Пресновку — перевалочный пункт — засылались в глубинные степи тугие купеческие тюки с красным — аршинным, как тогда еще говорили, товаром — ситцем, миткалью, бязью, вельветом, шелком и бархатом — для степных весенних и летних торжищ с кочевыми казахами в Каркаралах, в Куяндах, в Атбасаре, в Баянауле.

Шли туда же — через Пресновку — из глубин России и колониальные и галантерейно-скобяные товары. Комковой — головчатый — сахар. Караванный индийский и цейлонский плиточный чай. Позумент. Дешевые дутые серьги под золото. Латунные — с чернью — браслеты, похожие на серебро. Стеклярус. Чугунные казаны. Украшенные медными узорами сундуки. Деревянные круговые пиалы. Ведерные тульские самовары. Все эти товары имели большое хождение среди кочевников.

Вот с одним из таких обозов и ушли в извоз на исходе памятного мне 1912 года мои братья. Из Пресновки они повезли в Курган круговые слитки топленного сала со стрельниковских салотопен. А воротиться должны были с бакалейным товаром для торгового дома Немировых и с десертными красными винами для рейнского погреба при немировском магазине — тогдашней диковинке нашей станицы.

Был слух, что, возвращаясь с грузом из Кургана, возчики заночевали в селе Мало-Приютном, в тридцати верстах от станицы. Для обоза – это пять-шесть часов ходу, и дома поджидали возвращения из дальней дороги наших ребят где-то к обеду.

Мне уже перевалило в ту пору за шесть, и я отлично – на всю жизнь – запомнил весь этот декабрьский день, начавшийся с тихого, безмятежного утра и безвременной вялой оттепели, словно было это не перед рождеством, а в канун масленицы. Молодые березки и клены под окнами нашего нового пятистенного дома прикрытые кружевными накидками куржака – серебристого инея, блаженно дремали в безветрии, не шелохнувшись. Потом пошел невесомый, несмелый снежок, нехотя, с ленцой запорошивший над крышами присмирившей в этот утренний час станицы.

А затем – вдруг как-то сразу – на улице потемнело, и густой поток навесного лавинного снегопада хлынул, как проливной летний ливень, из угрюмой небесной бездны.

И позднее – эго уже поближе к полудню – затрубил, дико и властно загикал, завыл штормовой шквальный северный ветер. И тотчас же все потонуло в сумятице низовой поземки, в яростной сатанинской пляске подоблачных снежных смерчей и вихрей, в жарком чаду и дыму сорвавшейся с цепи декабрьской вьюги...

Минул овечанный метелью полдень. Померк, погас незаметно при грозном реве вертепной пурги и недолгий декабрьский день. Тянулись – череда за чередой – томительные часы. А братьев моих, застрявших в дороге, не было и в помине...

Поздно. Очень поздно. В невеликом, заново уже обжитом нами доме нашем – тревожная щемящая тишина. Чисто в нарядной горнице и в опрятной кухне, мытых и перемытых по случаю большого праздника, ведь завтра канун рождества – сочельник. Пахнет свежей известью. Выстиранным, вымороженным на ветру бельем. До звона сухой березовой лучиной, нащеплённой впрок для растопки. Лампадным маслом. Восковыми свечами. Пшеничными калачиками. Ванильной сдобной стряпней, припасенной к празднику.

Непривычно малоллюдно у нас в этот час непогожего вьюжного вечера. Сестры – Даша и Паня – убежали, несмотря ни на что, к кузнецу и регенту Лавру Тырину на предпраздничную клиросную спевку. Средний из братьев – Кирилл залился куда-то по своему молодому делу.

Отец, молча побряхтев-побряхтев, уплелся к бабушке Арефию Старкову — по-соседски делиться с ним одной их общей тревогой за судьбу возчиков, настигнутых бедовой пургой в дороге, — два старших сына Арефия — Степан с Михаилом — тоже шли с этим обозом...

Дома — мы вдвоем с мамой.

Я сижу на печи. Прикоснувшись ухом к дымоходной трубе, прислушиваюсь к жуткому, гортанному ее клокотанию, судорожному подрагиванию и звериному вою.

Мама, засветив в горнице лампадку, опускается на колени и, высоко запрокинув перед сумеречным киотом обнаженную голову, шепчет, неторопливо крестясь, слова молитвы. Не слыша ее молитвенных слов, я знаю, о чем она просит в эти минуты бога. О всевышней его милости к моим пропавшим в кромешной ночной пурге старшим братьям.

Притихнув около завывающей печной трубы, я не свожу глаз с коленопреклоненной маминой фигуры, едва различаемой мною среди неярко озаренной сумным лампадным сиянием горницы, и сердце мое сжимается от светлой любви, от теплой нежности, от горькой жалости к ней — такой одинокой сейчас, горестной, скорбной, незащищенной!

А печная труба продолжала так грозно и мрачно клокотать, посвистывать, выть, что я, позабывший в эти минуты всеми на свете, вдруг устрашась своего одиночества, готов был уже тихо окликнуть погруженную в молитву маму. Но тут на пороге словно распахнутой ветром кухонной двери внезапно возникает, как привидение, похожая на сплошной снежный ком бабушка Платониха.

— Страсти. Страсти. Страсти господни, кума! — впопыхах тараторит потом Платониха, уплетая из латунной кружки чайные выварки. — Свету белого не видать на улице. А каково теперь там — в степи?! У нашего-то Михея-обозника шуба на рыбьем меху. И пемешки — зачем не видишь, каши запрясят!

— Не енотовы шубы и у наших ребят на плечах... — угрюмо замечает мама.

— Не говори. Не говори. Не говори, кума. Не Бронские мы. Не Боярские — в еноте пыхать... А я ведь к тебе мимоходом. Хоть и недосуг у меня. А покаяться забежала. Взяла-таки грех на душу. Про обозников наших — не стерпела — поворожила!

— Креста на тебе, матушка, нету — руками карты в такую пору поганить. Ведь завтра у нас — сочельник! — оговаривает ее со строгой укоризной мама.

— Да то ли я сама ворожила? Христос тебе встречи, кума!.. — запальчиво оправдывается Платониха. — Я ведь к Рысте — на край света — в такую непогоду полкала. Сунула ей пшеничну коралку, она и прикинула мне на бобах. На бобах. На бобах. На бобах, кума!..

— Ну, Рыста — это ишо туды-сюды... — примирительно соглашается мама. — Ладно уж, сказывай, чо тебе эта нехристь, на ночь глядя, наборонила?

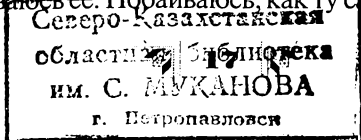
— А вот чо, кума... Разбросила она, значит, пригоршню бобов по кошке, — скороговоркой бормочет таинственно приглушенным голосом Платониха. — Потормошила, потормошила их чо-то там пальцами. Пошепелявила, пошепелявила шепотом какие-то свои слова по-кыргызски. Под конец — утешила. Ступай, говорит, домой. Притерпись. Шибко не убивайся. Врать, вещует, не стану. По бобам, мол, вижу — худо им там теперь среди злых духов. Темно. Боязно. Жарко... Сама знаешь, кума, как там наша Рыста по-русски-то долдонит. Чуть не каждое слово — шиворот-навыворот. Только я поняла, што криву и нескору дорогу навещала нашим обозникам кыргызуха. А на прощанье она прокалякала: айда, дескать, спи мал-мала себе на здоровье. Не сумлевайся, мол. Главный боб доведет их до дому!

— Дай господь! — говорит со вздохом мама.

— Ты скажи, вот ведь — нехристь. Азия. А како-то там свое тайно слово и власть над бобами знат!.. — скороговоркой бормочет теперь уже как бы про себя, кутаясь второпях перед уходом в свой тяжелый черный плат, Платониха. — А теперь — побежала. Побежала. Побежала. Прошшай, кума! Там, по дому-то — хлопот полон рот. Не поверишь, и квашня-то ведь у меня, грешной, ишо даже не замешана!..

И Платониха — как всегда — мигом исчезает из моих глаз, с такой небабьей силой и яростью хлопая дверью, словно покидала наш дом в сердцах.

Я очень настороженно прислушивался к сбивчивому, малопонятному для меня рассказу суетной бабушки про: Рысту. Эту углеликую, сухопарую старуху-казашку я давным-давно знаю. Знаю. И побаивался ее. Побойваюсь, как ту самую колдунью, кото-



рая летает в рождественские ночи верхом на помеле над нашей станицей и умеет притворяться то там какой-то озорной, шkodливой козой, то — натрыжной свиньей, то — лстывной, козарной собакой. Недаром же не один раз нарывались на нее в святочные ночи подвыпившие на вечерках старшие мои братья!.. А еще раньше — совсем в малые мои годы— принимал я Рысту за Бабу Ягу — костяную ногу за три гроша куплену, по бокам луплену!

На самом же деле — как об этом узнал я опять-таки позже — Рыста была безобидной, кроткой и очень ласковой к нам — станичным ребятишкам — бабушкой.

Хорошо знаю я мужа Рысты— Шигарая — старого пастуха коровьего табуна в нашем краю станицы. Шигарай рядом с Рыстой выглядел совсем другим человеком. Это был обрусевший, смолоду прижившийся в станице старик — приветливый, доверчивый, добродушный. Говорил он по-русски, не скупясь на присловья, поговорки и прибаутки, не хуже иного станичного краснбая. Да и немудрая степного покроя одежда Шигарая — отличку от Рысты — куда была более ухоженной, ладно сидевшей на нем, опрятной. А вельветовый черный бешмет его, надетый поверх коленкоровой, по-казахски просторной рубахи, всегда делал в моих глазах этого старика праздничным, молодежавым, нарядным.

Все мне нравится и в обеих дочерях-близнецах Рысты и Шигарая — Дильде и Гильде. Все нравится. И такие веселые, складные их имена — Дильда-Гильда. И пунцовые их камзолы, унианные серебряными монетами. И отороченные огненным лисьим мехом, набекрень надетые бархатные шапочки их с перьями филина на макушке. И даже пугливость и робость этих нездешних степных девчонок, хотя они на целых четыре года старше меня.

На какое-то время задумавшись о Рысте, о Шигарае, о картинных их девчонках-погодках, я вдруг почувствовал, что после мгновенного исчезновения бабушки Платоники еще сумнее, горше и тише стало сейчас в нашем непривычно безлюдном, словно вымершем доме.

И снова прислушиваясь к оторопелому, грозному клокотанью и темному, утробному вою печной трубы, я вижу — а скорее всего чутьем угадываю — какой безысходной тоской и тревогой охвачена мама, и ее до предела напряженная душевная настороженность исподволь, неосознанно, подспудно передается и мне.

Я, собравшись в комок, молча сижу у трубы, украдкой поглядывая за тем, чем занята в эти минуты мама. А она — то присядет за прялку и, искусно крутнув раза два-три веретеном, тут же замирает в неподвижности, чутко прислушиваясь к чему-то. То, отставив прялку, миг метнется вспугнутой птицей к занавешенному вьюгой окошку, норовя разглядеть за ним что-то, видимо, ей примерещившееся. То, снова присев в кути на лавку, принимается, проворно работая стальными спицами, довязывать из поярковой шерсти мою варежку... И мне становится понятным, что суматошная, сбивчивая болтовня бабушки Платоники не только не утешила, не успокоила ее, а наоборот, разбередила ей душу!

Но вот, вдруг вся встрепенувшись, высоко запрокинув голову, она вновь замирает в неподвижности, и я замечаю — как резко меняется выражение ее как бы разом помолодевшего, посветлевшего лица. Потом, отложив в сторону спицы с недовязанной моей варежкой, она, выпрямившись, полушепчет, несуетно крестясь, слова молитвы:

— Слава тебе, господи! Слава тебе... Внемли гласу всех страждущих и обремененных. Яви же милость свою ко всем странствующим и путешествующим в сие неурочное время!...

И только тут вдруг явственно различил я в шуме бушующей вокруг нашего дома метели грозно рокочущий, как отдаленные грозные раскаты, густой, басовитый, мятежно-напевный звук. В ключья раздирая тугие, яростно трепетавшие паруса пурги, торжествующе разливался он перекатными волнами над открытым штормовым морем глубинной степи, — покоряющий, повелительный, властный!

О, это был тот самый, до боли знакомый мне звук, который когда-то смутил, привел в трепет оторопевшую младенческую мою душу и, наверно, продолжал жить в ней тайно, не умирая и по сей день... Да, это был тот самый звук, который я так давно полюбил, — полюбил и боялся его.

То был Он — Главный колокол, подававший сейчас вечеровой свой голос в ночи всем обремененным и страждущим путникам, настигнутым этой пургой в дороге. И мне теперь стало понятным, отчего вдруг просветлело как бы разом помолодевшее лицо мамы, и у меня отлегло от сердца от утоленной этим ночным благовестом ее печали...

А совсем я воскрес, ошалев от радости, когда в эти минуты, громыхнув промерзшей дверью, вкатились неожиданно-негаданно в наш дом два снежных кома, в которых я тотчас же, едва не упав с печки, признал своих дорогих друзей — Троньку Михайлова и Денисова Пашку.

— Хлеб да соль, хозяйева!— сказал баском Пашка, отряхиваясь от снега, как гусак от воды.

— Чай с сахаром!— по-своему приветствовал нас Тронька, бесцеремонно сбрасывая с плеч торчавшую на нем колом овчинную шубенку.

— Милости просим. Милости просим, полуночники!.. Раздевайтесь, коли пожаловали, и — на печку! — добродушно откликнулась на их приветствия мама.

— Слышите, блавостить в Главный колокол начали!— сказал, стягивая с ног подшитые пимишки, Пашка. — И всю ночь будут блавостить. До свету. Буран потому што — ни зги!.. И наш братка Тима в церковь ушел. И ишо другие всякие там казаки. Оне — в очередь. Один в колокол бьет. Други — в сторожке спасаются... А уж братка Тима тама в этот колокол врежет дак врежет— я те дам! Хоть за двадцать пять верст — и то будет слышно!

— Неладно так про колокол говорить, Паша. Неладно. Не то слово...— строго оговаривает его мама.

Пашка толком, видимо, ничего не понял. Но на всякий случай обиделся. Глухо, под нос пробурчал:

— Братка жа у нас— богатырь...

— А нас с Пашкой ночевать к вам наши насовсем отпустили, — сказал тут Тронька, испытующе покосясь на маму.

— На спевку с Ванькой,— поспешно уточнил баском Пашка. — Мы жа его славить с собой поведем послезавтра. А без спевки ково нам с им делать? Неково. Только зря в ногах будет путаться. И всю обедню нам с Тронькой испортит.

— А вот за это — спасибо вам, ночевальчики!— оживилась мама.— Вот и пришла пора — привел бог и нашему Ване Христа славить... Правильно, подучите-ка там его маленько. Сладьтесь с ним. Спойтесь. Приноровитесь. А пока — за стол. Тюрей вас на сон грядущий попотчую.

При упоминании тюри меня будто ветром снесло с печки на пол. Тюря — искрошенный, заваренный в крутом кипятке с луком

и солью пшеничный калачик — самое желанное мое кушанье. Правда, всего какой-нибудь час тому назад мама меня уже ею вдоволь напотчевала. Но я вновь безмерно рад случаю полакомиться любимой заварухой — да еще из одного горшка с такими друзьями!

И мы с Пашкой и Тронькой, усевшись рядком за столом на одной скамейке, расторопно заработали деревянными ложками, смачно уплетая за обе щеки крутое, горячее варево.

— Вас бы только в работники нанимать, любо поглядеть — как проворно едите! — похвалила нас мама.

Мы же, мигом опорожнив от тюри семейную нашу глиняную миску и абы как перекрестясь, ринулись, как подстегнутые кнутом, друг за дружкой на печку.

Тронька с Пашкой постарше меня, каждый — на целых два года. Они уже школьники — ученики второго класса Пресновской казачьей начальной школы. И оба даже прислуживают — по большим праздникам — в церкви, помогая дедушке Арефию в непоседливой, хлопотливой его работе. Ставить богу свечи. Снимать с них нагар. Подливать лампадное масло в мерцающие перед алтарным иконостасом светильники. Обходить с медными, жарко горящими подносами молящихся прихожан, собирая медяки, серебро, а то, глядишь, и трехрублевые бумажки — посильные жертвования людей в пользу храма.

Я уже не один раз видывал их обоих во время утренних и вечерних богослужений в церкви, на которые пристрастился ходить с мамой, видел и не узнавал их — ни Троньки, ни Пашки. Они совсем были здесь другими — какими-то нездешними, недоступными. В нарядных, серебристо-светлых длиннополых церковных одеяниях, они, казалось мне, не ходили, а скользили, как на незримых коньках, по вошеному полу церкви. И я, снедаемый тайной к ним завистью, трепетал перед ними.

Иногда во время службы мне страшно хотелось шепотком окликнуть по имени того или другого из них. Но они проходили мимо с устремленными куда-то вполувывсь словно незрячими глазами и делали вид, что не узнают меня. И мне было до спазм в горле обидно, что даже тогда, когда я оробело выкладывал на круглые их подносы сунутые мне в руку мамой паши медяки, — даже в такую минуту ни Тронька, ни Пашка как будто не замечали меня.

Вот тут-то вместо былого блаженного трепета перед этими церковными служками принималась исподволь разбирать меня слепая, яростная злоба против них, злоба вперемежку — теперь уже с черной завистью. Но, вспомнив о том, где нахожусь сейчас, я старался внушить себе, что это начал подзуживать меня сам сатана, и потому норовил укротить себя, подражая маме, коленопреклоненной молитвой...

Это там — в церкви.

А вот здесь, дома — мы ровня. Сидим, насытившись тюрей, кружком — ноги калачиком — посреди нашей просторной и опрятной, как горница, печки. Ровня-то ровней, да не совсем. Пашка и тут наотличку. Он ведет себя так, будто не он к нам пришел с ночевой, а меня допустил из милости на свою домашнюю печку.

Началось с Троньки. Тот, схватив попавшую под руку березовую лучинку, решил изобразить перед нами заливчатского балалайщика и, затренькав пятерней по, воображаемым струнам, тихонько — не без озорства — запел:

Сентетюриха телегу продала,
На те деньги балалайку завела!

И такая безобидная вроде Тронькина вольность вдруг довела Пашку до полного бешенства. Его будто на моих глазах подменили, и он вмиг еще стал чернее лицом от нахлынувшей на него ярости.

— Вот ка-а-ак врежу!— свирепо зашипел он, замахнувшись на Троньку в сердцах вырванной из рук лучинкой.— Ты што, язви тебя, оглох? Не слышишь, в Главный блавостят?! Я тебя за этим к Ваньке с ночевой привел? В балалайку брякать?!

— А чо ты взелся? Чо ты пасть на меня разинул? Гляди-ко, развоевался на чужой-то печке!..— стойко начал обороняться от внезапного Пашкиного наскока Тронька.

— Замри! Я и Ваньке врежу, ежели заслужит...— оgoroшил тут заодно и меня Пашка.— Для меня бара берь, ежели сказать вам по-крыгышки, чья это печка!..

Мама, закрывшись в горнице, не видела и не слышала нашей возни на печке. Оттого-то так с ходу и распоясался Пашка, пригрозив нам обоим за любое неповиновение ему — самозваному нашему вожаку — крутой над нами расправой.

Наступило тягостное молчание. Не глядя один на другого, мы натужно сопели, как после кулачной потасовки, и я, насторожившись душой, выжидал, гадая о том, какое еще коленце внезапно может выкинуть сварливый, крутой на руку Пашка.

Между тем печная труба продолжала аукать, стонать, клокотать и выть. А ночная пурга, будто ломясь в наш дом, гулко барабанила упругими крыльями в наглухо закрытые ставни.

И далеким-далеким, бесконечно печальным и одиноким казался теперь долетающий сейчас до нас трубный звук приглушенного и какою-то как бы вроде затемненного вьюгой колокола.

Мы притихли, невольно прислушиваясь к этому тревожному, скорбному звуку. И это он, наверно, вдруг усмирил вспылчивую, как порох, душу Пашки, незаметно примирив заодно и всех нас.

— Ладно. Мир на земле и в человецех благоволение! — сказал теперь уже совсем другим голосом Пашка, и цыганское лицо его на какую-то долю минуты чуть посветлело от смутной повинной улыбки.

Изредка прислуживая в церкви дедушке Арефию, Пашка временами терся и среди клиросных певчих. Он видел, как теми бойко управлял регент — расторопный кузнец и коновал Лавр Тырин, и сейчас, принимаясь за спевку с нами, Пашка воображал, как видно, себя тем же суетливым и властным регентом и выбивался из сил — во всем подражать ему.

— Смотрите сюды! — скомандовал нам с Тронькой Пашка, приподняв над правым ухом лучинку. — Это — мой камертон. Доре-ми-фа- соль-ля-си-до! Понятно?!

— Валяй. Валяй. Зачинай, Паша... — примирительно кивнув ему рыжеволосой головой, сказал Тронька.

Я ничего пока не понял. Но сдержался — смолчал.

— Я буду петь басом. Тронька — альтом. А ты будешь у нас на выносе — канючить дискантом, — категорично сказал мне Пашка. — Будешь подпевать нам, Ваня, самым-самым тонюсеньким голосом, — объяснил мне ласково Тронька.

— А ты хоть слова-то все вызубрил? — в высшей степени подозрительно покосясь на меня, строго спросил Пашка.

— Учили с мамой... — уклончиво ответил я.

— Смотри у меня! Штобы там — не через пень колоду. Не путать. Не запинаться. А то — врежу! — приструнил меня Пашка для проку.

— Ну, а теперь — замерли... — предупреждаяще побрякав своим камертоном о печную трубу, опять скомандовал Пашка. А затем, плавно помахивая лучинкой, смежив веки, басовито завел: — Рождество твое, Христе-боже на-а-аш...

— Во сия мира и свет ра-а-зума, — живо подхватил своим альтовым голосом Тронька.

Тут, не оробев, с лету подключил неокрепший, задиристый голос к нашему хору и я, — сам удивился потом тому, как стройно, душевно и ладно полилось наше духовное песнопение под вторы завывавшей печной трубы и приглушенных метелью звуков трубившего в ночи далекого колокола.

Пашка пел с закрытыми глазами, как слепец — калика переходжий. В подражание ему смежил ресницы и я. И правда, так — зажмурившись — почему-то было лучше слушать не только певчих моих приятелей, но и самого себя...

Завыла печная труба Бил и бил, не переставая — с расстановкой, с раздумьем — недремлющий по случаю непогоды колокол. Мы же, самозабвенно упиваясь своими стройно слитными голосами, не вникая в затемненный смысл каких-то полунашенских, полупотусторонних слов, пели:

Тебе кланяемся, солнце правды,
Тебя видим с высоты Востока...
Ангелы с пастырями славословят,
Волхвы ж со звездой путешествуют...

Поначалу спевка шла у нас хорошо — лучше некуда. Но вот Пашку, будто ткнутого шилом, вдруг подбросило с задницы на коленки, и он, оборвав нас сабельным взмахом лучинки на полуслове, вновь озверело набросился на Троньку:

— Кол мне на твоей башке тесать, обормот?! — зарычал, угрожающе размахивая перед Тронькиной мордой своей лучинкой, мгновенно осатаневший Пашка. — Сколько раз тебе, варнаку, говорено? И небо со звездой учухаясь, — так надо петь. Учухаясь, а не учохайся, как ты боронишь!.. Вот попробуй мне ншо один раз проборонить свое учохайся, — ух, и врежу! Ух, язви тебя, и врежу!

— Чо ты вяжешься ко мне? Чо ты вяжешься? — снова начал обороняться Тронька. — Ну, какая тебе разница — учохайся там али учохайся? Кто нас впотьмах разберет, когда вгорячах станем славить?!

— Ага, угодил, обормот, в небо пальцем! — сказал со злорадной усмешкой Пашка. — А попадья?! А монашка Физанька?! А просвирня? Этим тоже, по-твоему, бара бери, што учохайся, што учохуся? А ты знаешь, тем, которые без запинки, по всем правилам славят, — там по круглому пятаку на рыло подают!

— Ну ладно тебе. Не ерепенься! — пробурчал, стремясь к примирению, с виноватой ухмылкой Тронька — Я это твое учохуся так промычу, што и сама попадья не придерется. Ни попадья. Ни Физанька. Ни просвирня!

Пашка, по-бычьи скобенив лохматую башку, подозрительно присмотрелся к невозмутимому Троньке и, не сразу найдясь, как ему на это достойно ответить, сказал, пренебрежительно отмахиваясь от него лучинкой:

— Шляпа ты с ручкой!.. Недаром и прозвище у твоего родимого тяти — кошма!

Тут Троньку тоже, должно быть, кольнуло шилом, и он, как и Пашка, стремглав вскочив на коленки, перешел от обороны в атаку.

— А ну-ка ты тут у меня пасти не пяль на тятю! — зашипел в свою очередь на Пашку дрожмя задрожавший Тронька. — Пусть мой тятя — кошма. Ладно... А у твоего бати прозвище ишо почише — граммофон!

По всему было видно, что Тронька этими словами, как щелчком по лбу, ошарашил Пашку, и драка между ними показалась мне уже неминуемой. Однако Пашка, придя в себя, вопреки очередному, такому как будто бы сейчас неизбежному взрыву ярости, вдруг весь обмяк и сказал, совсем не зло улыбаясь:

— Ну, это ты, Тронька, зря мешаешь божий дар с яишницей!.. Граммофон все же не кошма — музыка! Позабыл, как прошлогодним летом мы его слушать к Минькиным вместе бегали? К Ванечке с Софочкой!.. Вот и он — Ванька — от нас не отставал, тоже пялил рот на граммофонную трубу вместе с нами.

Это правда. К пятистенному, крытому оцинкованной жестью нарядному дому Минькиных, когда его хозяева — Ванечка с Софочкой — заводили в погожие летние вечера станичную невидаль — граммофон, летели сломя головы не только мы с Пашкой и Тронькой. Туда валом валили и прочие станичные ребяташки. Да и не только ребяташки. Толпились под окошком минькинского дома и люди постарше — молодые и пожилые казаки и казачки.